
Глава XI

ОТ СЕКРЕТНОГО ДОКЛАДА ДО ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 1956

14 февраля 1956 года, в 10.00, в Большом Кремлевском дворце открылся XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Около 1355 голосующих и 81 неголосующий депутат представляли на съезде 6,8 миллиона членов и 620 тысяч кандидатов в члены КПСС. Здесь присутствовали представители пятидесяти пяти коммунистических и рабочих партий, в том числе лидеры всех восточноевропейских стран, кроме Югославии. Предполагалось, что на этом съезде, первом после смерти Сталина (и первом — после 1939 года, — проходившем в установленные уставом партии сроки), будет официально прояснена постсталинская политика партии — в том числе статус самого Сталина и взаимоотношения нынешних руководителей, формально осуществляющих коллективное руководство страной. Семьдесят пятая годовщина рождения Сталина в декабре 1954 года и двухлетие со дня его смерти в марте 1955-го были отмечены пышными восхвалениями в прессе. О семьдесят шестой годовщине в декабре 1955 года «Правда» сообщила сухо и кратко¹.

Войдя в зал, депутаты увидели на обычном почетном месте большую статую Ленина. Рядом с ней не было ни портрета, ни фотографии Сталина. Первые слова Хрущева, обращенные к съезду, звучали так: «За период между XIX и XX съездами мы потеряли виднейших деятелей коммунистического движения — Иосифа Виссарионовича Сталина, Клемента Готвальда и Кюити Токуда. Прошу почтить их память вставанием»². Готвальд был лидером чешской компартии, Токуда — генеральным секретарем компартии Японии. После нескольких секунд молчания, вспоминал итальянский делегат Витторио Видали, «мы начали в недоумении оглядываться друг на друга. Что это значит? Кто такой этот Току-

да? И что за странная торопливость — как будто Хрущев боится или стыдится называть эти имена»³.

Основными мероприятиями съезда были отчет ЦК о внутренней и внешней политике СССР, прочитанный Хрущевым, и доклад Булганина о выполнении шестой пятилетки. За ними, как обычно, последовала «дискуссия», состоявшая из заранее подготовленных речей советских и иностранных коммунистов. Оба доклада были посвящены в основном экономическим вопросам и достаточно бесцветны. Однако в речи Хрущева прозвучало несколько намеков на то, что странное соседство Сталина с никому не известным японцем во вступительном слове было не случайно. ЦК, объявил он, «решительно отвергает культ личности как чуждый духу марксизма-ленинизма». В другом месте он обрушился на «атмосферу беззакония и произвола». Это может относиться только к Сталину, подумал Видали. Однако бразильский депутат, сидевший рядом, шепнул ему, что, скорее всего, речь идет о Берии⁴.

Та часть речи Хрущева, что была посвящена внешней политике, также представляла собой знаменательный разрыв с догматами сталинизма (новая мировая война «не неизбежна»; разные страны могут идти к социализму *различными* путями; возможен даже мирный, *нереволюционный* путь), однако имя Сталина не упоминалось и здесь. Аналогичные намеки проскальзывали и в речи Анастаса Микояна: «...В течение примерно двадцати лет у нас фактически не было коллективного руководства, процветал культ личности...»⁵ Услышав лестное упоминание о Сталине в письме Мао Цзэ-дуна, депутаты разразились аплодисментами, а когда лидер французской компартии Морис Торез начал восхвалять Сталина с трибуны, поднялись с мест и приветствовали его бурной овацией⁶.

Заседания проходили в течение десяти дней; наконец, 25 февраля съезд завершил свою работу. Иностранные делегаты и гости уже паковали чемоданы, когда советские делегаты были приглашены на закрытое, не значащееся в расписании заседание. Когда Хрущев и другие члены Президиума заняли свои места на сцене, «лица у них были красные и взволнованные», вспоминал специалист ЦК по культуре Игорь Черноуцан, который сидел в первом ряду и мог рассмотреть все детали. Хрущев говорил почти четыре часа, лишь один раз сделав перерыв. Суть его речи заключалась в жесточайшей критике Сталина, который, по словам Хрущева, был виновен в серьезнейших «злоупотреблениях властью». Во время его правления «массовые аресты и ссылки

тысяч и тысяч людей, казни без суда и без нормального расследования порождали неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление». Обвинения в контрреволюционных действиях были «нелепыми, дикими, противоречащими здравому смыслу». Невинные люди признавались в преступлениях благодаря «применению физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства». И за все это несет персональную ответственность Сталин: он «сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были единственные — бить, бить и бить»⁷. Хрущев перечислил «честных и ни в чем не повинных коммунистов», которых замучили и убили, несмотря на исторгнутые у них пыткой фальшивые признания и мольбы к Сталину о милости. Он обвинил Сталина в некомпетентном руководстве во время войны, в «чудовишной» депортации кавказских народов, в «мании величия», благодаря которой он мог себе позволить фразы типа: «Вот шевельну мизинцем — и не будет Тито. Он слетит...», в поощрении «тошнотворно-льстивых» восхвалений в свой адрес, наконец, в полном разрушении сельского хозяйства, ибо Сталин был человеком, который «никуда не выезжал, с рабочими и колхозниками не встречался», а страну «изучал только по кинофильмам. А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел...»⁸.

Хрущев сказал многое, но о многом и умолчал. В его изображении Сталин сделался тираном не ранее середины тридцатых. Хотя троцкистская и бухаринская оппозиции не заслуживали «физического уничтожения», это были «идеологические и политические враги». Хрущев симпатизировал не всем жертвам Сталина, а лишь невинно убиенным *коммунистам*, у многих из которых руки были по локоть в крови. Хрущев не только пощадил Ленина и советский режим, но и вознес им хвалу. Сталин, по его словам, предал Ленина — и Ленин предвидел это предательство, как следовало из документов, которые Хрущев представил делегатам съезда⁹.

Хрущев предлагал вернуть страну к ленинизму. В то же время он оправдывал себя и других наследников Сталина. «Где же были члены Политбюро? — спрашивал он. — Почему вовремя не выступили против культа личности? Почему начали действовать только сейчас?» Ответ он давал тот же, что и позже в своих мемуарах — довольно слабый ответ: оказывается, члены Политбюро «в разное время смотрели на вещи по-разному», они, мол, не знали, что творит от их имени Сталин, а когда узнали, было уже слишком поздно. Хрущев повторил слова Булганина, сказанные ему однажды

в машине по дороге из Кремля на дачу: «Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к нему как друга. А сидишь у Сталина и не знаешь, куда тебя от него повезут: или домой, или в тюрьму». В последние годы, продолжал Хрущев, «Сталин, видимо, имел свои планы расправы со старыми членами Политбюро», он хотел «уничтожить старых членов Политбюро и спрятать концы в воду по поводу неблаговидных поступков Сталина, о которых мы сейчас докладываем»¹⁰.

Закончил он так: «Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и оценят все эти мероприятия»¹¹.

Многие на съезде были «классическими» сталинистами: эти люди, уничтожавшие бывших коллег и взбиравшиеся наверх по их трупам, теперь испугались за собственные головы. Другие, тайно ненавидевшие Сталина, не верили своим ушам. По воспоминаниям будущего главы КГБ Владимира Семичастного, поначалу речь была встречена «мертвым молчанием; слышно было, как муха пролетит». Наконец послышался шум — сдержанный, приглушенный. Захар Глухов, преемник Хрущева в Петрово-Марьинском районе Донецкой области, чувствовал «одновременно восторг и тревогу» и восхищался Хрущевым, «решившимся заговорить о таких вещах перед такой аудиторией». Дмитрий Горюнов, главный редактор «Комсомольской правды», проглотил пять таблеток нитроглицерина: у него было больное сердце. «Мы спускались с балкона и в лицо друг другу не смотрели, — вспоминал Александр Яковлев, в то время — рядовой функционер отдела пропаганды ЦК, а впоследствии — один из «прорабов перестройки». — То ли от чувства неожиданности, то ли от стыда или шока». Выходя из зала вместе с другими, Яковлев слышал, как некоторые бормочут себе под нос: «Да-а... Да-а...» — вкладывая в это простенькое междометие целую бурю противоречивых эмоций¹².

Хрущев говорил «эмоционально и взволнованно», вспоминал Черноуцан, перемежая свою речь красочными отступлениями. «Самое интересное из того, что он говорил», как утверждает Яковлев, не попало в официальную стенограмму, опубликованную на Западе в 1956 году, а в СССР не печатавшуюся до 1989 года. Его ненависть к Сталину особенно ярко проявилась в рассказе о страшных поражениях под Киевом и Харьковом в 1941 и 1942 годах. По рассказу Черноуцана, «он взорвался и начал кричать в ярости: “Он

был трус! Он просто боялся! За все время войны на фронте не побывал ни разу!»¹³.

Коллеги Хрущева по Президиуму слушали его инвективы с каменными лицами. Рассказывают, что Хрущев обращался поочередно к Молотову, Маленкову, Кагановичу и Ворошилову, предлагая им объяснить свое поведение при Сталине — однако ни во время его речи, ни после нее они не произнесли ни слова¹⁴. В какой-то момент Хрущев рывкнул на Ворошилова: «Вот ты, Клим, — неужели тебе не надоело врать?!» Ворошилов, пишет Черноуцан, «покраснел до корней своих седых волос». Однако Хрущев не унимался: «Ты человек уже старый, тебе недолго осталось. Неужели не найдешь в себе совести и мужества сказать правду о том, что видел своими глазами?»¹⁵

Во время перерыва Черноуцан и Константин Симонов вышли покурить в коридор. «Мы и до того знали немало, — писал позже Черноуцан, — но теперь были потрясены открывшейся нам правдой. Но вся ли это правда? И как отличить истинную трагедию общества от обвинений, которые докладчик сердито швырял во все стороны?»¹⁶ Федор Бурлацкий, в то время молодой партработник, на съезде не присутствовал. Он ждал окончания доклада в редакции партийного журнала «Коммунист». Его начальник Сергей Мезенцев вернулся из Кремля «белый, как снег — нет, точнее даже, какой-то серый, цвета соляной глыбы». «Ну, что там было, Сергей Павлович?» — спросил Бурлацкий. Мезенцев «не отвечал, даже губами пошевелить не мог, словно у него язык прирос к нёбу». После долгого молчания Бурлацкий повторил свой вопрос: что случилось, кого-то исключили из партии или выбрали в ЦК неожиданного кандидата? Или, может быть, шутливо добавил он, решили закрыть наш журнал?

«Журнал?.. Нет, не журнал... Там сказали... Господи, что же теперь думать... что будет дальше... что нам делать?» Что именно поведали ему на закрытом заседании, Мезенцев так и не рассказал. «Нас предупредили, что утечек быть не должно. Иначе враги нас разорвут».

Четыре года спустя Бурлацкий слышал, как Хрущев описывал свой секретный доклад группе иностранных коммунистических лидеров. При этом Хрущев размахивал в воздухе бокалом, «расплескивал вино на белоснежную скатерть, пугал тех, кто сидел с ним рядом, но сам этого не замечал». Только позже «он осторожно поставил бокал на стол и продолжал жестикулировать освободившейся рукой». Зачем он произнес этот доклад? Ответ мы находим все в том же рассказе, прочитанном им в школе: «При царизме в тюрьмах

сидели политзаключенные — эсеры, меньшевики и большевики. И был среди них старик сапожник по имени Пиня...

Вот что я сделал на XX съезде, — продолжал Хрущев. — Раз меня выбрали первым [секретарем ЦК], значит, надо быть первым — как сапожник Пиня. Я должен был сказать правду о прошлом, чего бы мне это ни стоило»¹⁷.

Секретную речь Хрущева, несомненно, можно назвать самым опрометчивым и самым мужественным поступком в его жизни. Поступком, после которого советский режим так и не оправился — как и сам Хрущев. Маленков и Молотов еще до этой речи были политически побеждены. Хрущев собрал на съезд своих сторонников и укрепил свои позиции в ЦК. Теперь он был первым среди равных и мог надеяться, что со временем избавится от всех своих соперников. Однако смелое выступление на съезде подорвало его положение; пятнадцать месяцев спустя большинство коллег по Президиуму проголосовали за его смещение с должности главы партии. По установленным правилам игры (Президиум решил, ЦК поставил печать), Хрущев должен был подчиниться и уйти в неизвестность. Однако, прижатый спиной к стене, он вступил в драку — и победил. Поединок был столь драматичным, а победа — столь решительной, что стоит спрашивать не о том, как он выиграл, а, скорее, о том, как ухитрился едва не проиграть.

Часть ответа можно обнаружить, следуя логике кремлевской борьбы за власть: соперники Хрущева стремились избавиться от него, пока он не успел сделать то же с ними. По формулировке известного советолога Роберта Конквиста, «ведущая фигура в “коллективном руководстве” подвергается постоянной опасности, пока полностью не раздавит своих врагов в Президиуме и не завоюет себе прочное и непоколебимое положение»¹⁸. Другой ответ: наследство Сталина было слишком взрывоопасно, его невозможно было обезвредить без тех потрясений, что прогремели в Восточной Европе осенью 1956 года, подорвав авторитет Хрущева. Однако отправной точкой стал именно секретный доклад. Неужели Хрущев не предвидел его последствий? Действовал ли он импульсивно, стремился укрепить свою власть — или пытался примириться с остатками совести?

Арест Берии и суд над ним расширили круг тех, кто знал о преступлениях сталинской эпохи. С обвинительным актом против Берии на сорока восьми страницах ознакомили ме-

стных партийных руководителей и агитаторов. После казни Берию посыпались просьбы о пересмотре дел, связанных с «чистками» — просьбы, которые, по настоянию Хрущева, пересылались сперва в прокуратуру, КГБ и Комитет партийного контроля, а затем — в Президиум для окончательного решения¹⁹.

К концу 1955 года тысячи политических узников вернулись домой, принеся с собой истории о том, что творилось за колючей проволокой. Однако система ГУЛАГа работала по-прежнему, громкие процессы тридцатых годов были еще не пересмотрены, а в лагерях и колониях содержались 781 тысяча 630 заключенных плюс еще 159 тысяч 250 в тюрьмах. До сентября 1955 года на запросы родственников КГБ отвечало стандартной фразой: «Приговорен к десяти годам лишения свободы без права переписки, нынешнее местонахождение неизвестно». К 1955 году сестра генерала Яна Гамарника, покончившего с собой перед неминуемым арестом в 1937-м, провела в тюрьме и ссылке семнадцать лет. Она обратилась напрямую к Хрущеву, которого знала по работе в Киеве, и он видел ее письмо, однако ЦК отклонил просьбу о помиловании на том основании, что к сестре «врага народа» никакого снисхождения быть не может²⁰.

Ссылные начали возвращаться в родные края, многие — не дожидаясь официального разрешения. ЦК был завален письмами; во многих из них, адресованных лично Хрущеву, задавались вопросы о сталинском прошлом²¹. Пострадавшие искали справедливости; партийные и государственные работники боялись повторения террора. Прибавьте к этому изменения во внутренней и внешней политике — особенно демонстративные объятия с главным врагом Сталина Тито, — и станет ясно, что Кремль не мог избежать публичного пересмотра роли Сталина. Однако миллионы простых людей по-прежнему поклонялись его памяти, а тысячи офицеров КГБ, тюремщиков, доносчиков, палачей изнывали от безделья и жаждали награды за свои труды. Даже самые просталински настроенные из коллег Хрущева стремились к частичной десталинизации — хотя бы для того, чтобы поражение в политической борьбе больше не вело к физическому уничтожению проигравшего. Однако все понимали, что обвинения против Сталина будет нетрудно повернуть против каждого из них.

Хрущев взял инициативу на себя: он занимался сбором информации, отдавал распоряжения о пересмотре дел и освобождении заключенных — и хранил наивную веру в то, что социализм, очищенный от пятен сталинизма, станет для

своих последователей только привлекательнее. Его доклад стал и своеобразным актом покаяния, призванным восстановить самоуважение. Сам Хрущев вспоминал позже, как в ночь перед выступлением «ему померещилось, что он слышит голоса погибших товарищей»²².

В рассказе Хрущева о своих мотивах мы встречаем ту же смесь обмана и самообмана, что и в его повествовании о тридцатых годах. Оказывается, только в 1955 году у него «возникла потребность приподнять занавес и выяснить, как же все-таки велось следствие, какие имели место аресты, сколько людей всего арестовали, какие существовали исходные материалы для ареста и что показало потом следствие по этим арестам». Свидетельства, которые собирала целый год специальная комиссия при Президиуме, «явились для многих из нас совершенно неожиданными, — рассказывает он. — Я говорю и о себе...»²³. В действительности Хрущев могли поразить лишь истинные масштабы репрессий, сообщение, что преступления партийцев были сфальсифицированы не отчасти, а полностью, да еще, возможно, детальное описание жестоких пыток во время допросов²⁴.

Между XVIII и XIX съездами прошло тринадцать лет; XX съезд Хрущев решил собрать точно по расписанию, в начале 1956 года. 7 апреля 1955 года он сообщил об этом Президиуму, на следующий день было принято решение, и 12 июля 1955-го это решение было утверждено ЦК. Осенью 1955-го спецслужбы начали пересмотр дел 1936—1939 годов. Примерно в то же время генеральный прокурор СССР Руденко доложил Хрущеву, что «с юридической точки зрения не было оснований» для массовых арестов в конце тридцатых, «не говоря уж о казнях»²⁵.

У Хрущева было несколько долгих бесед со старыми товарищами, только вернувшимися из лагерей. В конце двадцатых на Украине он знал Алексея Снегова; увы, Снегов знал также и Берию — и знал слишком хорошо, что и стало причиной его ареста в 1937-м. Каким-то чудом Снегову удалось выжить после шестнадцати лет, проведенных за полярным кругом, и после смерти Сталина он сумел отправить Хрущеву письмо из лагеря. Хрущев вызвал Снегова в Москву, использовал его как свидетеля против Берии, а затем не только освободил, но и дал ему важную должность в системе ГУЛАГа, чтобы в дальнейшем ускорить освобождение других заключенных. Хрущев рассчитывал, что Снегов и другие бывшие узники выступят на XX съезде; этого не слу-

чилось, но материалы, присланные Снеговым, он использовал в своей речи — и это в то время, когда к «отсидевшим» еще относились как к людям второго сорта и власти не всегда давали им разрешение проживать в Москве²⁶.

Микоян позже рассказывал, что призывал Хрущева выдвинуть обвинения против Сталина, говоря: «Надо ведь когда-нибудь если не всей партии, то хотя бы делегатам первого съезда после смерти Сталина доложить о том, что было. Если мы этого не сделаем на этом съезде, а когда-нибудь кто-нибудь это сделает, не дожидаясь другого съезда, все будут иметь законное основание считать нас полностью ответственными за прошлые преступления»²⁷. По утверждению сына Микояна Серго, первым с Хрущевым заговорил об этом Снегов: «Либо ты расскажешь об этом на следующем съезде, либо сам окажешься под следствием». Анастас Микоян возмущался тем, что в своих мемуарах Хрущев приписал инициативу себе, отказавшись «разделить славу с другими».

Кто бы ни советовал Хрущеву, действовал он сам: именно он настоял на прочтении секретного доклада. В октябре 1955 года он предложил сообщить делегатам съезда все, что известно о сталинских преступлениях. 31 декабря он предложил создать комиссию по рассмотрению деятельности Сталина. «Кому это выгодно? — спрашивал Молотов. — Что это даст? Зачем ворошить прошлое?» Каганович возражал: «Сталин олицетворяет множество побед советского народа. Рассмотрение возможных ошибок продолжателя дела Ленина поставит под сомнение правильность всего нашего курса. Да нам просто скажут: “А где вы были? Кто дал вам право судить мертвого?”»²⁸

Внимание Президиума было сосредоточено на чистках конца тридцатых, в особенности на арестах делегатов XVII съезда партии в 1934 году. Хрущев обещал, что комиссия рассмотрит «нарушения социалистической законности», в которых виновен в первую очередь Берия; возглавить комиссию должен был архисталинист Петр Поспелов. Поспелов с 1940 по 1949 год занимал должность редактора «Правды», готовил второе издание «Краткой биографии» Сталина (в одном только 1951-м эта книга была выпущена тиражом семь миллионов экземпляров) и, по воспоминаниям Хрущева, после смерти Сталина рыдал так горько, что Берии пришлось на него прикрикнуть: «Что ты?! Прекрати!» «Мы считали, — объяснил Хрущев, — что это внушит доверие к материалам, которые подготовит его комиссия». Умение Поспелова утопить любое дело в ворохе длинных нудных документов было на руку Хрущеву²⁹.

Хрущев приказал членам комиссии уделить особое внимание расправам с партработниками, в том числе с его предшественниками на Украине, Павлом Постышевым и Станиславом Косиором. Комиссия работала с документами больше месяца. Тем временем 1 февраля 1956 года Президиум вызвал бывшего первого заместителя главы отдела по расследованию особо важных преступлений НКВД Бориса Родоса, выбивавшего «признания» из Косиора, Власа Чубаря и Александра Косарева. Родос, рассказывал Хрущев на XX съезде, был «ничтожеством с цыплячьими мозгами», «моральным вырождением», который, однако, «решал судьбу видных членов партии». Но Родос сообщил Президиуму, что действовал согласно личным приказам не только Берии, но и самого Сталина³⁰.

Ответы Родоса на вопросы Президиума вызвали между его членами горячий обмен мнениями. «Хватит ли у нас смелости сказать правду?» — спросил Хрущев. «Если это правда, — воскликнул Сабуров, — можно ли называть это коммунизмом?! Это непростительно!» Маленков высказался в пользу доклада на съезде. С ним согласились Булганин и Первухин. Возражал Молотов, его поддержали Ворошилов и Каганович³¹.

Несколько дней спустя комиссия представила доклад на семидесяти двух страницах вместе с копиями приказов Сталина, открывших эпоху Большого Террора. В период с 1935 по 1940 год, сообщалось в докладе, за антисоветскую деятельность были арестованы 1 миллион 920 тысяч 635 человек, 688 тысяч 503 из которых расстреляны. Все громкие дела о «заговорах» и «контрреволюционной деятельности» были полностью сфабрикованы; Сталин лично санкционировал пытки для добывания признаний. Другие члены Политбюро видели копии протоколов допросов и знали о применении пыток. «Факты были настолько ужасающими, — вспоминал позднее Микоян, — что в особенно тяжелых местах Пospelову было трудно читать, один раз он даже разрыдался»³².

Когда Пospelов закончил, слово взял Хрущев: «Теперь нам ясно банкротство Сталина как руководителя. Что это за руководитель, который всех уничтожает? Надо набраться храбрости и сказать правду». Молотов возражал, настаивая, что Сталина следует представлять исключительно как «великого последователя Ленина». В конце концов «под руководством Сталина партия жила и трудилась тридцать лет, провела индустриализацию, выиграла войну, достигла величайшего могущества». Каганович выступил против Молотова — кто знает, из чувства вины (он упомянул своего репрессированного брата Михаила) или из желания угодить Хрущеву: «Нельзя

обмануть историю. Нельзя закрывать глаза на факты. Предложение Хрущева правильно... Мы несем ответственность, однако ситуация была такова, что мы не могли возражать». Но, добавил он, сообщить обо всем делегатам съезда следует таким образом, чтобы «не допустить анархии».

В ходе спора Каганович изменил свое мнение. В конце концов он, Молотов и Ворошилов выступили против Хрущева, однако при голосовании большинство приняло его сторону. Маленков: «Повальное уничтожение кадров невозможно и дальше объяснять борьбой с врагами». Аверкий Аристов: «Говорить: “Мы ничего не знали” недостойно членов Политбюро». Шепилов: «Мы должны все рассказать партии, иначе партия никогда нам не простит». В заключительном слове Хрущев попытался примирить стороны, заметив, что не видит между ними серьезных разногласий: «съезду нужно сказать правду», но «без смакования»³³.

13 февраля, за день до начала съезда, Президиум постановил, что речь Хрущева должна быть произнесена на закрытом заседании. Позже в тот же день он представил в ЦК предложение: «...до сих пор мы не ставили вопрос о культе личности так, как он должен быть поставлен... Делегаты съезда должны знать больше, чем они могут узнать из прессы. Иначе они будут чувствовать, что их собственная партия что-то от них скрывает. Им необходимо больше фактического материала, чтобы понять, что происходило. Думаю, члены ЦК со мной согласятся». Нет нужды добавлять, что несогласных не оказалось³⁴.

Как только речь Хрущева была одобрена, текст стал предметом сложного маневрирования, в котором задачей Хрущева было отредактировать свою речь самому и представить ее в Президиум в последний момент, когда будет уже поздно что-либо менять³⁵. 15 февраля он просит Пospelова и Аристова подготовить черновик. Пospelов торопливо составляет тридцатисемистраничный текст (копия которого хранится в архиве) и 18 февраля представляет его Хрущеву. Текст Пospelова короче окончательной речи Хрущева (он касается только конца тридцатых годов), а по содержанию — скучнее, но одновременно и содержательнее. Черновику Пospelова не хватает личных воспоминаний и отступлений, которые придали речи Хрущева такую живость, однако в нем есть статистика, которую Хрущев оставил за кадром: на 383 листах приложения перечисляются 44 тысячи 465 имен партийных и государственных чиновников, а также частных лиц, расстрелы которых были санкционированы лично Сталиным только в 1937—1938 годах³⁶.

19 февраля Хрущев надиктовывает своей стенографистке дополнительный материал, в том числе и пассажи, отмеченные особенным волнением и гневом. Он обвиняет Сталина в некомпетентном руководстве во время войны, в послевоенном терроре («ленинградское дело», «дело врачей»), в разрушении сельского хозяйства, а также осторожно пытается объяснить, почему он сам и его коллеги были бессильны остановить «тирана». «Он нас использовал»; «всякий, кто возражал... был обречен»; «иной раз посмотрит тебе в глаза, — а он старался сверлить своими глазами... и говорит: что-то у вас глаза сегодня бегают, или: что-то вы сегодня отворачиваетесь, не смотрите прямо в глаза, или, наоборот, — что-то вы сегодня упорно смотрите...»³⁷

За четыре дня до этой диктовки Хрущев приказал Шепилову, ставшему редактором «Правды» после Пospelова, который в июле 1955 года был назначен секретарем ЦК, подготовить еще одну версию доклада. Среди ставленников Хрущева Шепилов был необычной фигурой: высокообразованный человек, выпускник МГУ, сотрудник Института красной профессуры. 15 февраля, в начале съезда, он только что закончил свое приветственное выступление и сидел с правой стороны сцены вместе с другими высокопоставленными лицами, когда к нему подошел Хрущев. Им уже случалось обсуждать Сталина; о сталинских репрессиях Хрущев говорил открыто и «с ненавистью». По дороге из Кремля в здание ЦК на Старой площади Шепилов спросил, что же он должен написать. «Мы с тобой все обсудили, — ответил Хрущев. — Настало время действовать». 25 февраля, слушая речь Хрущева, Шепилов узнал в ней немало своих фраз и абзацев, однако они были перетасованы. Кто редактировал речь? Если сам Хрущев, размышлял позднее Шепилов, то «он, должно быть, ее надиктовал, потому что Никита Сергеевич никогда не писал сам; у него были проблемы с грамотностью, и он об этом прекрасно знал. Один раз я видел его резолюцию на документе, в которой слово “ознакомиться” было написано так: “ознакомица”»³⁸.

Итак, около 20 февраля на основе версий Пospelова — Аристовой и Шепилова, а также диктовок самого Хрущева был создан новый черновик речи. К этому времени Микоян, Сабуров и другие союзники Хрущева уже предложили упомянуть внешнюю политику и национальные репрессии в послевоенное время — дополнения, особенно привлекательные для Хрущева, поскольку в этот период он находился дальше всего от Сталина и его ближайших приспешников. 23 февраля, за два дня до закрытия съезда, окончательная

версия была роздана членам Президиума. Одна копия, сохранившаяся в архивах, испещрена карандашными пометками разных цветов. После описания пыток партработника Роберта Эйхе и его отчаянной мольбы, обращенной к Сталину, кто-то приписал на полях: «Вот он, наш “дорогой отец”!» Другой комментарий добавляет к последней фразе-предупреждению: «Это не должно выйти за границы партии, тем более — просочиться в прессу» слова «не следует обнажать наши раны»³⁹.

22 февраля Хрущев получил письмо от Василия Андрианова, бывшего первого секретаря Ленинградского горкома, готовившего сцену для кровавого «ленинградского дела»: Андрианов предлагал выступить на закрытом заседании съезда и сообщить «то же, о чем я писал в своем меморандуме и что рассказывал на встрече с вами». Два дня спустя сталинградский товарищ Хрущева генерал Еременко предложил рассказать, как приказы Сталина едва не привели к падению Сталинграда⁴⁰. В тот же день, в десять вечера, Хрущев вызвал своих помощников Григория Шуйского и Петра Демичева, надиктовал дополнительные вставки стенографистке (которая, как рассказывают, посреди диктовки не выдержала и разрыдалась) и приказал представить ему окончательный текст на следующее утро, 25 февраля⁴¹.

В сороковую годовщину секретного доклада, на конференции, посвященной юбилею XX съезда, Михаил Горбачев восхищался «огромным политическим риском», на который пошел Хрущев, его «политическим мужеством» и решимостью, с какой он, «начав разоблачение преступлений сталинского режима», продемонстрировал, что «оказался человеком нравственности»⁴². Но даже если забыть о секретном докладе, первый после смерти Сталина съезд стал для Хрущева «проверкой на прочность» — и эту проверку он выдержал. После своей вступительной речи в первый день съезда, как вспоминал Сергей Хрущев, отец «вернулся домой смертельно усталый, но очень довольный». Он «просто сиял. Произносить вступительный доклад на съезде — для него это была высшая возможная честь»⁴³.

Съезд укрепил положение Хрущева во власти. Четверо его сторонников (Георгий Жуков, Леонид Брежнев, Екатерина Фурцева и Нуритдин Мухитдинов) стали кандидатами в члены Президиума, Брежнев и Фурцева также вошли в Секретариат; кроме того, состав ЦК существенно обновился за счет новых членов, многие из которых, первые секретари

обкомов и горкомов, были обязаны своим положением Хрущеву⁴⁴. Когда Молотова спросили, почему он не осмелился открыто возразить Хрущеву на съезде, тот ответил: «Партия была к этому не готова; нас бы просто вышвырнули». К началу 1956 года «я уже совершенно сошел со сцены, и не только в министерстве [иностраннных дел]. Люди старались держаться от меня подальше. Слово мне давали только на официальных заседаниях [Президиума]»⁴⁵.

Популярность при советской системе управления не имела такого значения, как положение во власти — однако она тоже шла Хрущеву на пользу. Особенно это касалось популярности в кругах интеллигенции. В 1956 году молодой Андрей Сахаров, спрашивая своего знакомого, нравится ли ему Хрущев, добавлял, что ему — «в высшей степени [нравится], ведь он так отличается от Сталина»⁴⁶. Упрочившееся положение доставляло и материальные блага, от которых Хрущев никогда не отказывался, хотя порой и выражал недовольство, — например, новая резиденция, в которую он переехал с семьей в конце 1955 года⁴⁷. Новый дом был возведен вместе с четырьмя другими на Ленинских горах, напротив спорт-комплекса «Лужники» и неподалеку от величественного здания МГУ. Особняк, окруженный высокой бело-желтой оградой, с многочисленной охраной, стоял на крутом берегу Москвы-реки, откуда открывался великолепный вид на Москву: при нем имелся небольшой парк с дорожками для прогулок и уютными полянами (на одной из которых Хрущевы обычно играли в теннис без сетки); с западной стороны имелся фонтан, а дальше извилистые тропы вели в густой сосновый бор. Сам дом представлял собой массивное двухэтажное здание: просторный холл с мраморными колоннами, большая гостиная с деревянным полом и роскошной чешской люстрой, не менее впечатляющая столовая, где за длинным столом легко можно было рассадить двадцать человек. На втором этаже располагались несколько спален, кинозал (он же бильярдная) и обшитый дубовыми панелями кабинет, в котором Хрущев почти не бывал, предпочитая работать и принимать посетителей в столовой⁴⁸.

По соседству с Хрущевыми поселились Микояны, Булганины и Кагановичи. Молотову и Ворошилову новых резиденций не досталось; правда, у них имелись роскошные квартиры в центре города и великолепные дачи, так что в этом им едва ли приходилось завидовать Хрущеву. У старших товарищей было множество других оснований недолюбливать Хрущева — а непредвиденные последствия секретного доклада предоставили им возможность действовать.

Доклад недолго оставался секретным. Хрущеву этого и хотелось⁴⁹. «Очень сомневаюсь, что отец хотел держать это в тайне, — писал Сергей Хрущев. — Наоборот! Его собственные слова подтверждали обратное — он хотел, чтобы его доклад стал известен народу. В противном случае все его усилия были бы бессмысленны. Секретность заседания была лишь формальной уступкой с его стороны...»⁵⁰

1 марта Хрущев отправил в Президиум отредактированный вариант доклада, который, «если не возникнет возражений, будет разослан партийным организациям»⁵¹. Четыре дня спустя Президиум одобрил распространение доклада — в виде брошюры в красной обложке с пометкой, гласившей сначала «Совершенно секретно», а в окончательном варианте «Не для печати», — парткомитетам страны, которые, в свою очередь, должны были «ознакомить всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийных активистов, включая рабочих, служащих и колхозников» с его содержанием⁵². Иными словами, в следующие несколько недель доклад Хрущева читался на заводах, в госучреждениях, в колхозах, в институтах и даже в старших классах школ; с ним ознакомились семь миллионов коммунистов и восемнадцать миллионов комсомольцев⁵³.

Коммунистические лидеры восточноевропейских стран услышали доклад в ночь с 25 на 26 февраля: им его зачитывали советские послы, причем очень медленно, чтобы те успевали делать заметки. Делегация ГДР была поражена, но ее руководитель Вальтер Ульбрихт быстро оправился; когда на следующее утро его спросили, что же теперь говорить молодым восточным немцам, обучающимся в партийных школах СЕПГ, Ульбрихт цинично ответил: «Скажите им, что Сталин — больше не классик». Правда, в дальнейшем выяснилось, что доклад потряс Ульбрихта больше, чем он хотел показать; он скрывал эту информацию от своего народа, пока она не просочилась в ГДР через западную прессу⁵⁴.

Поляки оказались не столь осторожны. Их Политбюро позволило членам ЦК и ведущим партийным активистам зачитать русский текст на партийных собраниях. Меньше месяца спустя по всем польским партиячкам был распространен официальный перевод. Вначале было напечатано около трех тысяч нумерованных копий, но типографии по своей инициативе допечатали еще около пятнадцати тысяч. Хрущев «дал нам понять, что доклад можно опубликовать, — вспоминал Эдвард Моравский, руководитель отдела пропаганды, занимавшийся распространением доклада. — Многие в руководстве были против, и это меня не удивляло. Нужно было идти

на [партийные] собрания, отвечать на вопросы; эти люди чувствовали себя преступниками»⁵⁵.

Одна из польских копий в начале апреля попала через израильскую разведку в Израиль, а затем и в ЦРУ. В конце мая Госдепартамент США передал копию «Нью-Йорк таймс», и 4 июня 1956 года она была опубликована⁵⁶. Советские власти не подтверждали, но и не отрицали ее подлинность. В ответ на вопрос западных репортеров Хрущев шутливо отослал их к шефу ЦРУ Аллену Даллесу⁵⁷. В самом СССР доклад распространялся так широко, что ни о какой секретности речи уже не шло, однако официально опубликован так и не был. Формально Сталин оставался «великим вождем», и его портреты по-прежнему висели повсюду. Новый югославский посол Велко Мичунович, прилетевший в СССР в конце марта, заметил во Львовском и Киевском аэропортах «огромные портреты Сталина, выполненные в ярких красках и с позолотой на всех возможных местах... как будто не было ни XX съезда, ни секретного доклада Хрущева».

Тот же театр абсурда происходил и в самом Кремле. Первая встреча Хрущева с Мичуновичем продолжалась четыре часа (вместо запланированных пятнадцати минут), и большую часть этого времени Хрущев произносил гневную филиппику в адрес покойного диктатора, портрет которого все еще висел у него в приемной. Если такое творится в Кремле, спрашивал себя Мичунович, «что же происходит в остальном Советском Союзе? Если Хрущев не в силах избавиться от Сталина в собственном кабинете — как избавиться от него Россия?».

Другие советские руководители, с которыми встречался Мичунович, о Сталине почти не упоминали. Молотов избегал любых неудобных тем, «даже не намекнул на то, что десять лет между нашими странами длилась идеологическая и политическая война, которую сам Молотов и начал...». Ворошилов, по-прежнему номинальный глава государства, которого Хрущев описал Мичуновичу как «развалину», ограничился несколькими дипломатическими любезностями. Речи Кагановича звучали совершенно по-старому. Из всех русских, с которыми встречались с 27 марта по 18 апреля Мичунович и его подчиненные, «ни один (кроме, разумеется, Хрущева и Булганина) не отзывался об осуждении Сталина с чувством личного удовлетворения или с убежденностью, что это было сделано правильно»⁵⁸.

Открытая публикация доклада могла бы способствовать более решительному разрыву со сталинистским прошлым. С

другой стороны, полное замалчивание могло бы предотвратить разразившуюся вскоре смуту. Хрущев стремился к большей публичности, остальные — к меньшей: в результате был принят компромиссный вариант. Но Хрущева раздражали противоречивые эмоции. «Благодаря Сталину он поднялся на вершину, — говорит его дочь Рада. — Его героизм состоял прежде всего в том, что он сумел преодолеть Сталина в себе... Но во многих вопросах он считал Сталина правым, потому что и сам думал, как Сталин»⁵⁹. Сразу после доклада, по словам Алексея Аджубея, «Хрущев... почувствовал, что своим докладом нанес слишком сильный удар. До поры до времени он еще вел линию на разоблачение сталинского произвола, приводил в своих выступлениях на различных собраниях и заседаниях новые факты, поддерживал разоблачение кровавого террора, но чем дальше, тем больше не хотел, чтобы рамки критического анализа расширились. Не хотел, чтобы шла “стенка на стенку”»⁶⁰.

«Теперь арестованные вернутся, — сказала в марте 1956 года поэтесса Анна Ахматова, — и две России взглянут друг другу в глаза: та, которая сажала, и та, которая сидела»⁶¹. На многочисленных собраниях, где зачитывался и обсуждался доклад, критика Сталина выплескивалась за установленные Хрущевым рамки. Антисталинисты касались самых больных мест, которых избегал Хрущев: почему о преступлениях Сталина так долго молчали? Где были в то время нынешние члены Президиума? А сам Хрущев? Почему он молчал и начал критиковать Сталина только после его смерти? Почему Хрущев не оплакивает тех из жертв Сталина, которые не были коммунистами? А может быть, вся советская система ошибочна?

На некоторых собраниях предлагались и даже принимались резолюции по вопросам, не обсуждавшимся публично до конца 1980-х: необходимость реальных прав и свобод, а также многопартийных выборов как гарантии свободы. Собрание в МГУ превратилось в хаос, когда местные партийные руководители попытались изгнать с собрания беспартийных, пришедших послушать доклад Хрущева. В термолaborатории Академии наук кто-то выкрикнул с места: «Власть принадлежит кучке негодяев! Наша партия заражена духом рабства!» — эти слова были встречены аплодисментами. Председательствующий попытался прервать собрание, но почти половина присутствующих, презрев «партийную дисциплину», проголосовала за его продолжение. Прокурор Кабардинской АССР, возможно, не получив соответствующих указаний Хрущева (или, наоборот, полу-

чив их), сообщил местным партактивистам число людей, арестованных и расстрелянных в республике в 1937 году, описал пытки, применявшиеся для выбивания признаний, и назвал имена виновных. В Сибири молодой комсомольский функционер, зачитав доклад Хрущева на студенческом собрании, не знал, что к нему добавить; он беспомощно повернулся к секретарю партийной организации — но тот тоже не знал, что сказать, и в конце концов взять слово пришлось преподавателю физкультуры⁶².

В апреле КГБ сообщал о случаях самовольного сноса или уродования памятников и бюстов Сталина, о том, что на одном собрании коммунисты постановили считать Сталина «врагом народа», а на другом — потребовали, чтобы его тело было изъято из Мавзолея. Однако еще больше было тех, кто Сталина защищал. Среди тех, кто присылал сообщения, мы встречаем имя молодого комсомольского работника Михаила Горбачева. Он делал доклад о XX съезде в сельском райкоме неподалеку от Ставрополя. Когда функционер Ставропольского обкома предупредил его: «Народ не поймет, люди этого не примут», Горбачев предположил, что он имеет в виду партаппаратчиков, а не простых людей. Однако последующие две недели заставили его пожалеть о своей самоуверенности. Молодые и образованные люди, особенно те, кто сам пострадал от Сталина или близко знал пострадавших, встречали доклад Хрущева с удовлетворением. Вторая группа «отказывалась верить... или отвергала его утверждения», а третья спрашивала: «К чему это? Зачем полоскать грязное белье на публике?» Но самая неожиданная реакция последовала от простых граждан: они восхваляли Сталина за то, что тот «наказывал» партийных чиновников, которые жестоко их угнетали. «Поплатились они за наши слезы!» — говорили слушатели Горбачева. «И это, — вспоминал он, — в регионе, по которому в полную силу прокатилось кровавое колесо 1930-х!»⁶³

Ни в одном регионе не пролилось крови больше, чем в родной Сталину Грузии, — и ни один регион не оставался так непоколебимо верен его памяти. На третью годовщину его смерти грузины собрались на улицах Тбилиси и некоторых других городов. Мирная траурная демонстрация в память о Сталине превратилась в четырехдневные массовые протесты против доклада Хрущева. Более шестидесяти тысяч человек принесли цветы к памятнику Сталину в Тбилиси; сотни других разъезжали по городу с портретами Сталина на грузовиках. Люди скандировали лозунги: «Слава великому Сталину!», «Долой Хрущева!», «Молотова в Председатели

Совета Министров!», «Молотова — в Генеральные секретари!» Некоторые демонстранты требовали даже отделения Грузии от СССР. Когда они двинулись к зданию радиостанции, правительство пустило в ход войска и танки. Произошло два столкновения, одно из них — у памятника Сталину: в нем пятнадцать человек были убиты, пятьдесят четыре — ранены, пятеро впоследствии умерли от ран. В конце концов общее число убитых составило двадцать человек, а раненых — шестьдесят. Многие были арестованы и оказались за решеткой. Когда беспорядки только начинались, вспоминает Сергей Хрушев, его отец надеялся, что молодежь «побуянит немного и успокоится». Однако в конце концов «пришлось вмешаться очень жестко», — говорил Хрушев послу Югославии Мичуновичу. Несколько человек, сказал он, были убиты и ранены; другие одумались и разошлись по домам. Теперь, добавил Хрушев, «мы будем настороже»⁶⁴.

Бурное собрание в термотехнической лаборатории вызвало обращение Президиума к коммунистам страны. В нем осуждались «вражеские выходки», все участники собрания в лаборатории были уволены и исключены из партии; вернуться было позволено «только тем, кто способен не только на словах, но и на деле проводить генеральную линию партии...»⁶⁵. «Правда» клеймила неких не называемых по именам коммунистов за «клеветнические фабрикации», «антипартийные выступления» и «непартийные высказывания» и требовала положить конец «чрезмерно либеральному отношению» к «антипартийным клеветникам». 7 апреля официальная газета ЦК КПСС перепечатала обращение из китайской прессы, призывающее молодых коммунистов изучать и хранить работы Сталина и его «историческое наследие». Отступление Хрущева достигло кульминации 30 июня, когда ЦК в своей резолюции фактически переписал его секретный доклад так, как хотелось бы коллегам-сталинистам: в сухом, безличном тоне, обвиняя Сталина лишь в «серьезных ошибках», отвергая любые попытки «найти источник этого культа в самой природе советского общественного строя», а под конец восхваляя «истинных ленинцев», которые «взяли курс на решительную борьбу с культом личности... немедленно после смерти Сталина»⁶⁶.

Ни одно из этих посланий не остановило реабилитацию и восстановление в правах жертв Сталина; напротив, этот процесс ускорился. До съезда было реабилитировано около семи тысяч человек — после съезда счет пошел на сотни тысяч. Продолжалось и освобождение заключенных: около сотни комиссий Верховного Совета СССР разъезжали по

лагерям «с целью проверки основательности вынесения приговоров политического характера»⁶⁷. Однако от реабилитации известных жертв Хрущев воздерживался. Комиссия, назначенная в 1955 году для пересмотра дела маршала Тухачевского и других высокопоставленных военных, закончила свою работу, и в январе 1957 года было объявлено о их реабилитации. Однако другая комиссия, разбиравшая дела Зиновьева, Каменева и Бухарина (председателем ее был Молотов, а членами — Ворошилов и Каганович), прозаседав несколько месяцев, объявила, что для пересмотра дел «нет оснований», поскольку обвиняемые «вели антисоветскую деятельность»⁶⁸. В июле 1957-го, после разоблачения заговора, Хрущев обещал вернуться к этим делам — но так и не вернулся, видимо, не желая дискредитировать иностранных коммунистических лидеров, которые, как и он сам, приветствовали эти приговоры⁶⁹.

Хрущев хотел продолжать десталинизацию, пусть и более умеренными темпами. Однако, когда 30 июня Молотов настаивал на принятии резолюции ЦК, Хрущев вынужден был с этим согласиться. За два месяца до того, на банкете по случаю праздника Первого мая, югославский посол Мичунович заметил признаки напряженных отношений между советским руководством. После парада на Красной площади советские лидеры и иностранные гости сели за роскошный стол. Хрущев как хозяин произнес больше дюжины импровизированных тостов. Затем он вдруг обрушился на Сталина, перемежая свою речь едва замаскированными намеками в адрес Молотова и Ворошилова. По видимости он защищал своих коллег (Молотов — честный коммунист; Ворошилов вовсе не был, как утверждал Сталин, английским агентом), но на самом деле обвинял их в близости к покойному диктатору. После того как Булганин попросил его держаться ближе к теме, Хрущев объяснил, зачем произнес свой секретный доклад, — в пересказе Мичуновича это звучало так: «Он [Хрущев] человек немолодой, может уйти в любой момент» и потому, «прежде чем покинет этот мир, хотел рассказать всем, что он сделал и как».

Послы, тронутые очевидной искренностью Хрущева, зааплодировали. Реакция его коллег была нескрываемой и выразительной. Явно поддерживали Хрущева только Булганин и Микоян. Молотов, Маленков и Каганович «все это время оставались пассивными». Особенно поразил Мичуновича Молотов, сидевший за столом с ним рядом: «Временами мне казалось, что Хрущев поворачивает нож у него в открытой ране». Ясно было, что члены Президиума чисто по-челове-

чески «не выносят друг друга». Молотов и Маленков с трудом терпели «восторг и наслаждение, с которыми Хрущев играл роль хозяина и повелителя»⁷⁰.

В июне Хрущев нанес своим критикам ответный удар. 1 июня, в день, когда президент Югославии Тито прибыл в СССР для двадцатитрехдневного визита, Молотов был вынужден уйти с поста министра иностранных дел, который занимал с 1939 года (не считая четырехлетнего перерыва в последние годы жизни Сталина), передав его ставленнику Хрущева Шепилову. Несколько дней спустя Каганович оставил пост председателя Госкомитета по ценам. Оба остались в Президиуме, однако их отставки ясно показывали, что Хрущев пережил бурю. Переговоры Хрущева с Тито прошли великолепно, начиная с импровизированного визита двух руководителей в кафе-мороженое на улице Горького (причем оказалось, что у обоих нет в кармане ни копейки) и вплоть до роскошного приема, на котором все советские руководители, не исключая и Молотова, во всеуслышание порицали Сталина за его обращение с Югославией, а также поездки в Сталинград и на Черное море, куда Хрущев лично сопровождал Тито⁷¹. Однако триумф был лишь внешним; югославы отвергли давление Хрущева, направленное на сближение Югославии с Россией. А через два дня после отъезда Тито рабочие в польском городе Познань начали восстание под лозунгом «Хлеб и Свобода», окончившееся лишь после гибели по меньшей мере пятидесяти трех человек, расстрелянных польской армией⁷². Пять месяцев спустя аналогичные, но гораздо более страшные события развернулись в Венгрии.

Истинные корни послевоенных беспорядков в Восточной Европе лежали в глубоко укоренившейся среди поляков и венгров неприязни к русскому правлению, и особенно — к навязанной им после Великой Отечественной войны власти Сталина. Ни в одной из этих стран коммунисты не смогли бы прийти к власти в результате честных выборов. Коммунистическое руководство Польши, возглавляемое Болеславом Берутом, старалось смягчить худшие стороны сталинизма, включая насильственную коллективизацию, и воспротивилось физическому уничтожению репрессированного коммунистического лидера Владислава Гомулки. Венгр Матьяш Ракоши действовал иначе — он подражал Сталину во всем, в том числе и в организации показательного процесса и казни своего соперника Ласло Райка.

После смерти Сталина польский и венгерский режимы зашатались. Варшавское руководство некоторое время оставалось неизменным — это дало ему время и возможность приспособиться к новшествам без особых потерь для себя. Ракоши Москва позволила остаться у власти, но навязала ему в качестве премьер-министра либерально мыслящего Имре Надя. Ракоши составил заговор с целью изгнания Надя из правительства и в 1955 году, сыграв на падении Маленкова в Москве, преуспел. Обвиненный, подобно Маленкову, в «правом уклонизме» Надь был изгнан из правительства и из партии; однако в результате Венгрия превратилась в пороховую бочку, к которой поднес спичку секретный доклад Хрущева⁷³.

Впервые Хрущев познакомился с лидерами обоих государств в 1945 году, затем несколько раз посетил Польшу. И Польшу, и Венгрию он неплохо знал, и ему казалось, будто то, что хорошо для СССР, будет хорошо и для них. Во время своего визита в Варшаву в 1955-м он попытался убедить поляков пустить четыре миллиона акров под кукурузу. «Можете мне поверить, — вспоминал позже заместитель министра сельского хозяйства Стефан Сташевский, — Политбюро буквально впало в отчаяние». Особенное уныние навел на них красочный рассказ Хрущева о своей бабушке, у которой росла замечательная кукуруза; «у вас ведь у всех есть бабушки», говорил он польским колхозникам и агрономам. Когда одна польская специалистка по агрокультуре возразила, что Хрущев напрасно разговаривает с ними, словно с ничего не знающими невеждами, тот взорвался и начал кричать Сташевскому, который ему на этой встрече переводил: «Слышите?! Слышите, что они говорят?! Вот вам поляки: всегда думают, что все знают лучше всех!»⁷⁴

Консультироваться с иностранными руководителями перед оглашением секретного доклада Хрущев не стал. Как сам он позже признавал, «особенно болезненно доклад был воспринят в Польше и Венгрии». Польский руководитель Берут читал доклад, лежа с воспалением легких в кремлевской больнице. У него произошел сердечный приступ, и 12 марта он умер. (Интересно, что и сам Хрущев в то время болел. «Только я оказался сильнее его», — говорил он позже Сташевскому⁷⁵.) Доклад «грянул словно удар молотком по голове», — вспоминал преемник Берута Эдвард Охаб. Польские партсобрания, на которых он зачитывался, превращались в антисоветские и антирусские митинги⁷⁶.

Заигрывания Хрущева с Тито, который был с венгерским лидером на ножах, подрывали авторитет Ракоши еще до

XX съезда, а секретный доклад едва его не прикончил. Хотя Хрущев позже признавал, что было «большой ошибкой» «полагаться на этого идиота Ракоши», Москва позволила ему оставаться на своем месте до лета. Волнения, вызванные докладом Хрущева, в июне выкристаллизовались в бурное собрание в «Кружке Петефи», интеллектуальном форуме, который организовал Ракоши в марте того же года для партийной молодежи, но который скоро превратился в центр оппозиции; на заседании 27 июня, которое советские руководители позже называли «идеологической Познанью» и «Познанью без оружия» (имея в виду июньские волнения в Польше), была принята резолюция, осуждающая сталинизм⁷⁷. На заседании Президиума 12 июля его члены клеймили события в Познани и в «Кружке Петефи» как «идеологическую диверсию империалистов», призванную «разделить [социалистические страны] и уничтожить их по очереди». На следующий день в Будапешт срочно вылетел Микоян. Он рекомендовал Ракоши выйти в отставку; по решению Политбюро его сменил Эрне Гере, впрочем, не более Ракоши способный удержать власть в стране⁷⁸.

Следующие четыре месяца волнения в Польше и Венгрии продолжались, не давая покоя Хрущеву и его коллегам. Ставки были высоки и поднимались все выше. Однако советские руководители не видели выхода. Позволить событиям развиваться своим чередом значило привести к крушению социалистического строя; оккупировать Польшу и Венгрию — дискредитировать коммунизм. Кремлевские соперники Хрущева возлагали всю вину на него. Он отчаянно стремился разрешить кризисы, вызванные десталинизацией, продолжая десталинизацию. Провал этой линии означал бы немалый риск и для него самого.

Уже в марте 1956 года беспорядки в Польше потребовали личного присутствия Хрущева. Он отправился в Варшаву на похороны Берута и оставался там, пока ЦК польской компартии не выбрал Беруту преемника. «Мы думали, — замечает по этому поводу Сташевский, — что свободного времени у генерального секретаря великой партии не так уж много». Однако Хрущев не только оставался в Польше гораздо дольше, но и говорил гораздо больше необходимого: он старался объяснить полякам, почему начал десталинизацию, обращаясь не столько к ним, сколько к самому себе, пытаясь говорить в терминах морали, но постоянно сбиваясь на политические клише, непрерывно противореча самому себе, как только речь заходила о его личных отношениях со Сталиным.

«Мы освободили тысячи, десятки тысяч, мы реабилитировали своих друзей, — гордо начал он. — А потом — что мы могли им сказать? Просто отводить глаза и говорить, что ничего особенного не случилось?.. Мы решили зачитать весь доклад членам комсомола, восемнадцати миллионам молодых людей с горячими сердцами; если они не будут знать всего, то не поймут нас, просто не поймут. А также собраниям рабочих, не только членам партии, но и беспартийным, чтобы они почувствовали, что мы им доверяем... Вот почему растет солидарность народа с ЦК... И в результате этой нашей работы, товарищи, — я абсолютно в этом уверен, в сущности, головой за это отвечаю, — мы добьемся беспрецедентного смыкания и рядов внутри партии, и людей вокруг нашей партии.

Это была трагедия, — продолжал он, говоря о сталинских временах. — Если вы спросите, товарищи, как мы теперь оцениваем Сталина, кто такой был Сталин, что он из себя представлял, был ли он врагом партии и рабочего класса — ответ “нет”, и в этом-то, товарищи, и заключается трагедия. Это был не враг — это был жестокий человек, убежденный, что вся его жестокость, несправедливости, злоупотребления, все, что он творил, было необходимо для партии. — А через несколько минут, разведя руками, воскликнул: — Не знаю, не понимаю! Черт его знает, как объяснить гибель стольких людей!

Что бы вы сделали, товарищи, — спросил он дальше у своих слушателей, — если бы вам прислали подписанные признания? Что бы вы сказали, прочтя их? Вы были бы в негодовании. Вы бы сказали: да, это враг народа. [Голос из зала: “Нет!”] Нет? Нет, товарищи? Говорите, вы бы так не подумали? Что ж, я не обижаюсь. Потому что вы это говорите в 1956 году, после моего доклада. Как говорится, на ошибках учатся». Если бы он, Хрушев, стал защищать жертв Сталина при его жизни, «меня самого объявили бы врагом... Если ты с ним [со Сталиным] не ешь и не пьешь — значит, враг. Если бы он не был так опасен, мы бы его давно привели в чувство — сказали бы: слушай, голубчик, хватит пить, иди работай, на нас весь народ смотрит. Почему мы не действовали раньше? Товарищи, у меня маленький внук, он все время спрашивает, почему то, почему это. Знаете, были обстоятельства, с которыми приходилось считаться...».

И снова возвращаясь к Сталину: «Думаете, он был глупее нас? Нет. Умнее нас? Как марксист, он был сильнее. Надо отдать ему должное, товарищи. Но Сталин был больной человек, он злоупотреблял властью». И все же «он всем серд-

цем и душой хотел служить обществу. В этом я абсолютно убежден. Вопрос в путях и средствах. И это отдельный вопрос. Как увязать все это вместе? Сложно ответить. Очень сложно. Каждый должен все это сам переварить... Мы сейчас пересматриваем темную сторону истории. Но, товарищи, Сталин — хотел бы я рассказать о его светлой стороне, о том, как он заботился о народе. Это был настоящий человек, революционер. Но у него была мания, понимаете, мания преследования. Вот почему он не мог остановиться, казнил даже собственных родственников»⁷⁹.

Хрущев проговорил несколько часов. Надеюсь, что он наконец уедет, поляки объявили двухчасовой перерыв. Хрущев остался. Подали чай. В ответ на вопрос об отношении Сталина к евреям Хрущев с неожиданным одобрением отозвался о «процентной норме», негласно принятой в Советском Союзе и ограничивающей число евреев на высоких постах. Этот вопрос сам по себе являлся табу, пишет Сташевский; но Хрущев «начал говорить об этом так, что мы чуть не попадали с кресел». «У нас два процента, — брякнул он, — в министерствах, в университетах, везде — два процента евреев. Вам нужно это знать. Я не антисемит, и у нас есть министр-еврей... и мы его уважаем, но всему есть предел». В этот момент экономист Хиларий Минц, еврей, наклонившись к Сташевскому, прошептал «с ужасом в голосе»: «Остановите его, ради бога, прекратите это, он же ничего не понимает, ничего! Прекратите это!»⁸⁰

Хрущев не замечал чувств, обуревавших его слушателей — «голубчиков», как он один раз обратился к ним в своей речи. Много раз он хвастал своей способностью читать по лицам — однако сейчас не вглядывался в них, не понимая, что его болтливая откровенность не укрепляет империю, а лишь усиливает тенденции, грозящие ее разрушить.

В июне, после познаньского мятежа, польские коммунисты впали в отчаяние. В октябре они приняли решение избрать главой государства недавно выпущенного из тюрьмы Гомулку и снять советского маршала Константина Рокоссовского, которого Москва навязала им в качестве министра обороны. Гомулка поднялся «на волне антисоветизма, — вспоминал Хрущев. — Польша могла отколоться от нас в любой момент». Понимая, что «времени терять нельзя», он потребовал себе приглашения в Варшаву⁸¹. Поляки отказались, однако 19 октября в 7.00 утра в Польшу вылетела делегация в следующем составе: Хрущев, Молотов, Каганович, Микоян, Жуков, командующий объединенными военными силами стран — участниц Варшавского договора маршал

Конев и еще одиннадцать советских генералов. Присутствие Молотова и Кагановича ясно показывает, насколько был подорван кризисом авторитет Хрущева. В аэропорту, по словам Хрущева, произошла «бурная сцена». Если верить полякам, это еще мягко сказано.

Зная свой характер, Хрущев попросил говорить от имени советской стороны Микояна; однако, выйдя из самолета и увидев, что Рокоссовский держится в стороне от поляков, а те демонстративно не обращают на него внимания, он взорвался. «Он еще издали начал грозить нам кулаком», — рассказывает Охаб. Подойдя ближе, Хрущев «стал размахивать кулаком у меня перед носом». Он кричал: «Мы знаем, кто здесь враг советской власти! Нам уже известно, что Охаб — предатель! Этот номер у вас не пройдет!» Позже Гомулка заметил своим коллегам: «Это за пределами моего понимания. Весь разговор шел на таких повышенных тонах, что его слышали все, кто находился в аэропорту, даже шоферы»⁸².

Все еще крича, Хрущев вошел во дворец «Бельведер», где советской делегации пришлось почти два часа ждать, пока в соседнем зале соберется польский Центральный Комитет. Поляки демонстрировали, что не желают видеть русских, и Хрущев воспринимал это «как плевок в лицо». После провала советско-польских переговоров (если это можно так назвать)⁸³ советские войска двинулись на Варшаву. Поляки в ответ мобилизовали собственные силы безопасности. У Гомулки, вспоминал позже Хрущев, «пена на губах появилась» — но он все-таки сумел выдавить из себя нужные слова: «Товарищ Хрущев, прошу вас остановить движение советских войск. Вы думаете, что только вы нуждаетесь в дружбе с польским народом? Я как поляк и коммунист клянусь, что Польша больше нуждается в дружбе с русскими, чем русские в дружбе с поляками. Разве мы не понимаем, что без вас мы не сможем просуществовать как независимое государство? Все будет у нас в порядке, и вы не допустите, чтобы советские войска вошли в Варшаву, потому что тогда будет сверхтрудно контролировать события»⁸⁴.

Хрущев, явно смягчившись, приказал остановить армию. По дороге в Москву он совсем успокоился и даже припомнил поговорку: «Утро вечера мудренее». Микоян, тоже совершенно успокоившийся, тем же вечером нежился в горячей ванне, когда явился председатель КГБ Серов и попросил его немедленно явиться домой к Хрущеву. Заседание Президиума было назначено только на следующий день; однако когда Микоян, демонстративно не спешивший, вошел в резиденцию Хрущева, то застал там Президиум в полном

составе. «Мы решили, что завтра утром наши войска все-таки войдут в Польшу», — сообщил ему Хрущев. Микоян был единственным, кто решился возразить. Молотов поддерживал Хрущева с особенным жаром. Булганин и Жуков, на которого возлагалось непосредственное руководство операцией, молчали. Однако Микояну удалось уговорить Хрущева отложить принятие решения до официального заседания Президиума на следующее утро — а назавтра Хрущев вновь передумал. На этот раз он призвал своих коллег к «терпению» и порекомендовал «воздержаться от вооруженного вмешательства», а два дня спустя, на новом заседании, в котором участвовали не только члены Президиума, но и восточноевропейские лидеры, попросил «избегать нервозности и спешки». «Причины для конфликта найти легко, — сказал он, — а вот положить конфликту конец может быть очень сложно»⁸⁵.

В конце концов Хрущев проявил терпение и выдержку. Однако в этой истории ярко проявились и его слабые стороны — несдержанность, импульсивность, склонность решать проблемы грубыми силовыми методами. Хрущеву очень повезло, что Гомулка оказался более разумным человеком и что он сам сумел успокоить своих земляков.

Если бы Кремль вовремя заменил Ракоши Надем, у Венгрии тоже был бы шанс перейти к более умеренному социализму мирным путем. Надь был не так умен, как Гомулка, но пользовался куда большей популярностью, чем Гере, который проводил политику ракошизма, а во время кризиса, в довершение ситуации, уехал на два месяца в отпуск и вернулся буквально накануне 23 октября, когда в Будапеште разразилась буря. В этот день состоялась студенческая демонстрация: молодежь приветствовала назначение Гомулки и требовала в Венгрии аналогичных реформ, прежде всего назначения Нады премьер-министром. Сотни тысяч демонстрантов, разделившись на несколько групп, двинулись к парламенту, где собирались слушать речь Нады; к радиостанции, чтобы потребовать прямой трансляции митинга; и к памятнику Сталину, который собирались снести. В других венгерских городах также начались беспорядки под лозунгом отставки правительства. Уже вечером венгерские силы безопасности открыли огонь по безоружным демонстрантам возле радиостанции. В последовавшем затем вооруженном столкновении мятежники легко одолели венгерскую милицию⁸⁶.

В тот же вечер в Москве все члены Президиума, кроме Микояна, проголосовали за ввод в Будапешт советских войск.

«Венгрия разваливается!» — кричал Молотов. «Власть вот-вот падет», — вторил ему Каганович. «Это не то, что было в Польше, — подытожил Жуков. — Надо послать войска». Микоян предложил дать венграм возможность «самим восстановить порядок», с помощью Надя, который уже вошел в правительство: «Что мы теряем? Если введем войска, то сами все испортим. Надо сперва испытать политические средства и только потом действовать силой». Поддавшись давлению своих соперников и собственным страхам, Хрущев также поддержал вооруженное вторжение, но постарался смягчить удар, согласившись с Микояном в том, что с Надем необходимо сотрудничать, и отправив Микояна и Суслова отслеживать обстановку на месте⁸⁷.

Ранним утром 24 октября в Будапешт вошли советские пехота и танки. Однако эта мера не успокоила город, а лишь углубила кризис. Бронированные машины окружила молодежь с «коктейлем Молотова». От венгерской полиции помощи было мало; многие перешли на сторону мятежников. К середине дня не менее двадцати пяти восставших пали убитыми и более двух сотен — ранеными. Микоян и Суслов докладывали о «распространении паники среди высшего руководства Венгрии»⁸⁸.

26 и 28 октября кремлевские лидеры встречались снова. К этому времени Гере уже заменил новый генеральный секретарь ВКП Янош Кадар и было сформировано новое правительство, включившее в себя политиков докоммунистической эры — однако сопротивление советским войскам не прекращалось. Молотов: «Дело идет плохо. Обстановка ухудшилась, по частям идет дело к капитуляции». Ворошилов: «Товарищи Микоян и Суслов ведут себя спокойно, плохо информированы... Американская агентура действует активнее, чем товарищи Суслов и Микоян». Булганин и Жуков выступили в защиту Микояна, однако и они не отрицали, что положение крайне серьезно. В выступлении Хрущева слышатся смятение и страх: «Мы за многое отвечаем. [Надо] считаться с фактами. Будем ли мы иметь правительство, которое с нами, или будет правительство, которое не с нами, и будут просить вывести войска. Как тогда? ... Нет там твердого руководства ни в партии, ни в правительстве. [Восстание] перекинулось на провинцию. Войска могут перейти на сторону восставших...» Однако, несмотря ни на что, «другого выхода нет» — нужно поддерживать нынешнее правительство, какие бы подозрения оно ни вызывало⁸⁹.

К 30 октября погибли около трех тысяч человек — венг-

ров и советских солдат. Положение становилось все хуже, но советское правительство, кажется, готово было с этим смириться. «Вывести войска из Будапешта, — заявил Жуков, — если потребуется — вывести из Венгрии... Для нас в военно-политическом отношении урок». «Нельзя руководить против воли народа», — заметил Сабуров (как будто не этим занимались большевики последние сорок лет!). Молотов и Каганович были согласны с общим мнением.

«Все мы единодушны, — объявил Хрушев. — Есть два пути. Военный — путь оккупации. Мирный — вывод войск, переговоры». Как ни трудно в это поверить, советское правительство действительно готово было смириться с потерей Венгрии⁹⁰.

Но только на несколько часов. В тот же день советское правительство опубликовало декларацию, в которой Москва признавала «серьезные ошибки» и «нарушения принципа равенства в отношениях с социалистическими странами», обещая в будущем «признавать полный суверенитет каждой из социалистических стран». Будь эта декларация выпущена несколько месяцев назад и имей Надь возможность цитировать ее самым непримиримым критикам коммунистического строя, венгерская революция могла бы умереть в зародыше. Однако к 30 октября события стремительно выходили из-под контроля, а сам Надь, стремясь удержаться на гребне волны, становился все более радикален. В ответ на более ранний инцидент, когда силы национальной безопасности Венгрии открыли огонь по толпе на площади Парламента и убили не меньше ста демонстрантов, разъяренная толпа ворвалась в здание горкома партии в Будапеште, схватила нескольких офицеров госбезопасности, которых выдали форменные светлые ботинки, и вздернула их на фонарях прямо на площади. Через несколько часов фотографии этой сцены появились в советских выпусках новостей. Несколько венгерских танков, направленных к зданию горкома, были подбиты. В тот же день Надь объявил о выходе Венгрии из Варшавского договора и потребовал у Микояна и Суслова вывода из Венгрии советских войск.

30 и 31 октября Хрушев возвращался в свою резиденцию на Ленинских горах очень поздно. «Будапешт гвоздем сидел в голове и не давал уснуть», — писал он. Всю неделю напряжение росло. 23 октября, вспоминает его сын, Хрушев выглядел «озабоченным, но не мрачным». Два дня спустя во время обычной прогулки по парку «молчал и неохотно отвечал на вопросы». Лишь много лет спустя он рассказал о том, как «колебался», «не зная, что делать» во время кризиса⁹¹.

Его страшила не только потеря Венгрии, но и — еще более — то, что мятеж грозил распространиться на соседние страны. Студенческие демонстрации в Румынии заставили местные власти закрыть границу с Венгрией. Чехословакия и ГДР также выглядели уязвимыми. Казалось, советский блок вот-вот распадется. «Что нам остается? — спрашивал Хрущев у Тито три дня спустя. — Если мы позволим всему идти своим чередом, на Западе скажут, что мы глупы или слабы, что, в сущности, одно и то же. Этого мы не можем допустить — ни как коммунисты-интернационалисты, ни как руководители советского государства. Тогда капиталисты нас сожрут». Теперь, продолжал Хрущев (в пересказе Мичуновича), люди скажут, что «при Сталине все слушались и не было никаких потрясений, а теперь, когда *они* пришли к власти [тут Хрущев употребил грубое слово для характеристики нынешних советских лидеров], Россия потерпела поражение и потеряла Венгрию. И у них еще наглости хватает в чем-то винить Сталина!»⁹².

«Нынешние советские лидеры?» — Хрущев обругал «грубым словом» (из-за дипломатичности Мичуновича мы не знаем, каким именно) самого себя. «Слабым и глупым» Запад мог счесть не только Советский Союз, но и самого Хрущева. С 23 октября, когда прибыла в Москву китайская делегация во главе с Лю Шаоци, Хрущев вел переговоры с Китаем. Еще 30 октября Мао заявлял, что «рабочему классу Венгрии» нужно позволить «восстановить контроль над ситуацией и усмирить восстание своими силами». Однако в ту же ночь, получив от китайского посла в Венгрии доклад о самосуде над офицерами госбезопасности, Мао изменил свое мнение и сообщил об этом в Москву.

Нам неизвестно, когда и как именно Хрущев получил совет Мао; так или иначе, уже 31 октября он совершенно изменил свою позицию⁹³. «Пересмотреть оценку, войска не выводить из Венгрии и Будапешта, — заявил он Президиуму, — и проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов, империалистов. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать. Мы проявим тогда слабость своих позиций. Нас не поймет наша партия. К Египту им тогда прибавим Венгрию. Выбора у нас другого нет!»⁹⁴

За несколько дней до того, говоря о долгом и, как казалось, бесперспективном конфликте Великобритании и Франции с президентом Египта Гамалем Абдель Насером, Хрущев привел эту ситуацию как пример, подтверждающий, что Венгрию нужно оставить в покое: «Англичане и францу-

зы сами устроили себе проблемы в Египте. Не стоит идти по их следам». Однако 31 октября, когда английские и французские войска высадились в районе Суэцкого канала и, по сообщениям, победоносно продвигались вперед (как ошибочно полагали в Москве — при поддержке американцев), Хрущев увидел в этом еще одну причину раздавить венгерскую революцию⁹⁵.

31 октября из Москвы поступил приказ готовиться к военным действиям. Однако на этом муки Хрущева не закончились. Тем же вечером, вернувшись из Будапешта, Микоян позвонил Хрущеву, которому в первый раз за два дня удалось заснуть. Микоян предупредил, что вооруженное вмешательство будет «страшной ошибкой», и умолял отозвать приказ, «чтобы не подрывать репутацию нашего государства и нашей партии». Хрущев настаивал, что «решение уже состоялось». На следующее утро перед рассветом, когда Хрущев готовился присоединиться к Молотову и Маленкову для совместной поездки по восточноевропейским странам, на пороге его резиденции снова появился Микоян. Вместе они вышли к воротам, где Хрущева ждал лимузин ЗИС-110.

— Думаешь, мне сейчас легко? — взволнованно говорил Хрущев. — Но мы должны действовать. Другого выхода нет.

— Если прольется кровь — я не знаю, что я с собой сделаю! — вскричал Микоян.

— Это было бы большой глупостью, — отрезал Хрущев, направляясь к машине. — Но я верю в твое благоразумие. Ты поймешь правильность нашего решения. Даже если прольется кровь, она убережет нас от большей крови. Подумай, и сам все поймешь⁹⁶.

Хрущеву показалось, что его коллега намекает на самоубийство. (На самом деле, как уточнял впоследствии Микоян, он имел в виду, что уйдет в отставку.) На следующем заседании Президиума, в отсутствие Хрущева, Микоян умолял подождать еще дней десять — пятнадцать, или хотя бы три дня, и дать венграм возможность справиться с проблемой самим. Даже Янош Кадар, бывший партнер Надя, которого СССР эвакуировал из Будапешта, предупреждал, что использование силы может «оскорбить социалистические страны» и «снизить дух [венгерских] коммунистов до нуля»⁹⁷.

В конце концов Кадар изменил свое мнение. Микоян понял безнадежность своих усилий и махнул рукой. Вместе с Молотовым и Маленковым Хрущев вылетел в Брест для встречи с Гомулкой. Оттуда они с Маленковым полетели в Бухарест, где провели встречу с румынами и чехами, затем в

Софию и, наконец, на остров Бриони в Адриатическом море для встречи с Тито. Суевливые беспорядочные перемещения вполне соответствовали состоянию духа Хрущева. Хрущев и Маленков путешествовали инкогнито (насколько это было возможно) на двухмоторном Ил-14. Когда они подлетали к Югославии, по рассказу Хрущева, «погода была отвратительной. Внизу горы, кругом ночь. Начался ураган, сверкают молнии. Я не спал, сидя у окна самолета. Раньше я много летал, всю войну пользовался самолетом, но в такой переплет никогда еще не попадал».

Наконец Хрущев и Маленков приземлились в аэропорту Пула и оттуда направились по морю в Бриони. «Маленков превратился в живой труп, — вспоминал Хрущев. — Его вообще очень укачивало, даже при езде в автомобиле по ровной дороге. А тут на море — сильная волна. Сели мы в маленький катер. Маленков лег и глаза закрыл. Я уже стал беспокоиться за него. Но выбора у нас не было»⁹⁸.

На острове их ждал Тито вместе с послан Мичуновичем. «Темно было, как в колодце, невозможно собственную руку разглядеть, — вспоминал Мичунович. — Хрущев и Маленков выглядели совершенно измученными, особенно Маленков — он едва держался на ногах. Русские расцеловали нас в обе щеки». И четыре дня спустя Мичуновичу вспоминались «неожиданное объятие Маленкова и его пухлая щека, в которой утонул мой нос».

Переговоры начались полчаса спустя, в 19.00, и продолжались до рассвета. Это была уже четвертая ночь, проведенная Хрущевым без сна. Он не просил Тито о поддержке (хотя в конце концов ее получил); какова бы ни была реакция Югославии, завтра утром советские войска войдут в Будапешт. Однако говорил он долго и с большим волнением; Мичунович ясно почувствовал, что Хрущев не уверен в собственной правоте и как будто старается оправдаться.

По окончании переговоров наступило долгое напряженное молчание. Утром 3 ноября Хрущев и Маленков вылетели из Пулы в Москву. Летные условия, по Мичуновичу, оставались «исключительно неблагоприятными»⁹⁹. А два дня спустя Советская Армия сокрушила венгерскую революцию, потопив ее в крови около двадцати тысяч венгров и пятнадцати сотен советских солдат.